

## КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**К. В. Иванов**

Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН,  
Москва, Россия  
konstantine@yandex.ru

Любая попытка выяснить, какую роль играли карты в том или ином историческом процессе, наталкивается как минимум на два принципиальных затруднения. Первое из них заключается в том, что карты обычно рассматриваются как продукт строгой эмпирической процедуры, свободной от изъянов восприятия и идеализаций воображения. Считается, что карты являются отражением объективной реальности, и стремление заподозрить их в необъективности равнозначно нанесению тяжкого оскорбления самому научному Методу. Второе затруднение связано с привычкой видеть в картах сугубо вспомогательное средство, не влияющее на процесс, но ассистирующее ему. Карты – это чрезвычайно полезные и эффективные помощники, а не менторы, навязывающие свою позицию.

И то и другое убеждение являются мифами, но мифами крайне устойчивыми. Оберег точности топографических методов долгое время охранял их от обвинений в пособничестве империализму. Строго выверенные шкалы разделенных кругов, нониусы, скрупулезные процедуры устранения ошибок, учет аберраций и погрешностей – весь богатый арсенал эпистемологий позитивизма позволял говорить, что карты есть не что иное, как уменьшенное изображение реального мира. Однако сама редукция, являющаяся неотъемлемой частью процесса изготовления карт, вынуждает топографов прибегать к селекции. Что достойно того, чтобы быть изображенным на картах, а что – нет? Карта не отображает пространство, она перекодирует его, и вполне естественно, что процедура перекодирования действует как инструмент конкретной политической системы, в основе которой заложена определенная идеология, движимая определенными социальными интересами.

В статье показывается, что именно эта особенность европейской картографии позволила изобразить пространство Казахской степи как территорию, лишенную признаков обитаемости, и сделала казахов невидимыми на их собственной земле. Другой неотъемлемой функцией картографирования является очерчивание феноменов. Картографы проводят линии, замыкают их в некие целостности и тем самым вписывают в ландшафт новые пространственные идентичности. Степь не содержала границ, но методы топографической съемки позволяли прочерчивать в ней «фронтиры», соединяя границами редко рассредоточенные укрепления. В предлагаемой статье подробно прослеживается, каким образом линии, проводимые топографами, формировали в сознании российской военно-бюрократической

элиты представление о постепенном расширении «границ» империи в Центральной Азии.

Несмотря на то, что упомянутые «границы» представляли собой всего лишь техники репрезентации, в диалогах военных и чиновников они наделались субстанциональными качествами. Поскольку речь в данном случае шла о первичном топографическом описании ранее неизученных территорий, политический и картографический дискурсы становились неотделимы друг от друга. В статье показывается, каким образом объекты, произведенные топографами на «ничейных» территориях, обретали самостоятельное существование на картах и использовались в качестве повода для дальнейшей экспансии.

**Ключевые слова:** картография, имперская политика, Российская империя, Центральная Азия, военная топография, Казахская степь, граница империи.

---

## CARTOGRAPHY AS A TOOL OF IMPERIAL POLICY IN CENTRAL ASIA

**Konstantin V. Ivanov**

S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology,  
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia  
konstantine@yandex.ru

There are, at least, two difficulties of principle that we face trying to figure out the role of maps in any historical process. The first one is that the maps are generally understood as a product of strict empirical procedure free of perception gaps and idealizations. We are told that maps reflect objective realities. Consequently, if one suggests that they can be prejudiced, he insults the very scientific Method. The second difficulty relates to the supposed utilitarian attitude of cartography. It is customary for us to consider maps as primarily a supporting means not influencing the process but assisting it. The map is a useful and effective facilitator, rather than mentor imposing predefined positions.

Both these beliefs are in fact myths, but extremely persistent myths. The talisman of precision protected the topographic methods against charges of complicity in imperial expansion for a long time. Fine scales of graduated circles, vernier scales, scrupulous procedures of error recovery, diminution of aberration and quantifying uncertainties – a whole range of positivist epistemologies allowed to speak that maps were nothing but scaled-down representations of real world. Still, the very existing of reduction, which is an integral part of map-making, obliges the topographers to resort to selection. What deserves to be depicted on the map and what not? Maps do not mirror the space, but re-encode it, and it is quite natural that this procedure operates as instrument

of a particular political system with the underlying ideology and consequent social interests. Maps are both instruments and representations of power.

The article shows how this particular feature of European cartography allowed to depict the Kazakh Steppe as vast uninhabited areas and helped to render Kazakh peoples invisible in their own land. The other indispensable function of cartography is delineation of phenomena. Cartographers draw lines, bridge them into particular totalities and thereby inscribe into the landscape new spatialized identities. The steppe did not contain boundaries, but surveying and mapping techniques allowed to establish “frontiers” by imaginary lines that connected rarely scattered Russian fortifications in the steppe. The article traces how these topographical lines formed a particular way of thinking among Russian top bureaucracy and military leaders, who eventually began to perceive them as gradual extension of imperial “frontiers” in the Central Asia.

In spite of the fact that “frontiers” in question were no more than techniques of representation, military and civil functionaries granted them the status of firm state boundary. Since it was a primitive description of previously unexplored territory, political and cartographic discourses tightly intertwined each other. The article demonstrates how the objects produced by military topographers in the “no-man’s lands” obtained their own existence on maps and have been used as a platform for further imperial expansion.

**Keywords:** cartography, imperial policy, Russian empire, Central Asia, military topography, Kazakh Steppe, empire’s border.

DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181

## **Введение**

Любая карта, которую с определенными оговорками можно назвать визуальным текстом, представляет собой результат взаимодействия и противостояний большого количества дискурсов, институций, практик и технических приемов. Поэтому требуется изначально оговорить, в каком контексте термин «картографирование» будет употребляться в настоящей статье. Под контекстом мы будем понимать, во-первых, историческую ситуацию, современную процессу изготовления карт; во-вторых – долговременную традицию, в русле которой эти карты появлялись на свет. Первое условие позволит нам более четко определить, на пересечении каких дискурсов и во взаимодействии каких институций возникали интересующие нас карты, а второе – какие практики и технические приемы использовались для их изготовления.

Как следует из заголовка, исторический этап, который нас интересует – это экспансия Российской империи в Центральную Азию. Верхняя его граница определяется достаточно однозначно. Это начавшийся в 1864 г. период последовательных, практически безостановочных вторжений Российской империи в пределы Кокандского, Бухарского и Хивинского ханств вплоть до их остановки в 1885 г. на подступах к Гератскому ханству, когда после заключения дополнительных делимитационных соглашений России с Китаем [Договор 1889] и Персией [Русско-Иранская конвенция 1960] в Центральной Азии была осуществлена демаркация британских и российских протекторатов [Афганское разграничение 1886].

Нижнюю хронологическую границу определить сложнее. Формально решение о принятии Малой киргизской орды, или, по современной терминологии, Младшего казахского жуза, сопредельного центральноазиатским ханствам, в подчинение России было принято императрицей Анной Иоанновной 19 февраля (ст. стиля) 1731 г. Именно в этот день она подписала «Жалованную грамоту киргиз-кайсацкой орды Абулхаир-хану, старшин и всему войску о принятии их в Российское подданство» [Крафт 1898, 3]. Однако это не повлекло за собой никаких мероприятий по описанию Казахской степи – широкой пустынно-степной полосы, протянувшейся, по определению российских географов XIX в., примерно между 44° и 54,5° северной широты от восточного побережья Каспийского моря и реки Урал до Джунгарии [Бларамберг 1978, 217]. Русское переселенческое движение не пошло дальше реки Урал в северо-западной части степи и дальше Семиречья на северо-востоке. На севере оно тоже остановилось там, где еще возможно было земледелие, – на подступах к казахской части Великой степи. Поэтому российская граница, оформленная в виде укрепленных казачьих линий, пролегла вдоль северного края указанной степной полосы, что оставалось неизменным вплоть до 1845 г., когда российские укрепления начали строиться глубоко в степи.

Систематические и последовательные топографические описания отдельных участков казахской степи начинают составляться одновременно с постройкой там военных укреплений, которые, как будет показано далее, сообщили исходный импульс имперскому вторжению. В силу этого нас будет интересовать историческая ситуация, сложившаяся в России в период с середины 1840-х до середины 1880-х гг. В ходе именно этого сорокалетнего периода Казахская степь, а вслед за ней и центральноазиатские ханства, получившие впоследствии обобщающее название «русского Туркестана», были полностью по-

корены Российской империей. Как следует из названия (и как мы собираемся показать в статье), картографирование сыграло в этом процессе очень заметную, если не решающую роль.

Что касается дискурсов и институций, то характерной особенностью указанной исторической ситуации было то, что географическое описание российской части Центральной Азии происходило в ходе так называемых «туркестанских походов». Они являлись типичным примером того, что в западной литературе получило название «малых войн»<sup>1</sup>. Поэтому географическое описание Туркестана осуществлялось почти исключительно военными специалистами. Конечно, всегда находились отдельные путешественники, рискующие предпринимать индивидуальные поездки в Центральную Азию, но в этом случае им приходилось прибегать к маскировке, что сильно снижало эффективность их работы<sup>2</sup>. Радикальный исламизм центральноазиатских ханств, деспотическая форма правления, все еще существовавшее там рабовладение, большое количество вооруженных групп, регулярно промышлявших разбоем, стали причинами того, что полноценное географическое изучение Центральной Азии с использованием штатных инструментов и методик могло осуществляться только под прикрытием военных отрядов. Поэтому на первом этапе главными поставщиками строгого географического знания об этом регионе были военные топографы.

В связи с этим нам придется обратить особое внимание на то, какие процессы происходили в российской армии в первой половине XIX в. и какое влияние они оказывали на практики и идеи пространственного мышления. Соответственно, технические приемы изготовления карт как при подготовке, так и в ходе самого вторжения использовали технологии визуализации, вырабатывавшиеся внутри военных подразделений – сначала в квартирмейстерских службах армий, а затем в специализированных войсковых частях, что также имело значение и оказывало определенное влияние на характер и темпы экспансии.

---

<sup>1</sup> Термин, введенный в оборот британским полковником Чарльзом Коллуэллом, издавшим в 1896 г. подробное практическое пособие «Малые войны. Их принципы и методы». Книга была посвящена техническим деталям, которые требуется учитывать, воюя с армиями, не обученными европейским приемам ведения войны на территориях, удаленных от европейского региона [Callwell 1996].

<sup>2</sup> А. Вамбери путешествовал по центральноазиатским ханствам в 1863–1864 гг., будучи передетым в дервиша. Э. А. Эверсман занимался географическими исследованиями в Бухарском эмирате в составе российской посольской миссии 1820 г. под видом врача, но был раскрыт и едва избежал умерщвления [Постников 2007, 164]. П. И. Пашино путешествовал в 1873 г. по Афганистану, разыгрывая роль слуги своего проводника-афганца. Каждый из этих исследователей неоднократно попадал в ситуации, грозящие гибелью.

## Картография как конструктивный элемент знания/власти

Усиленный интерес к географии Центральной Азии начинает пробуждаться в России примерно в середине – второй половине 1840-х гг. Этому сопутствовало и отчасти способствовало несколько изменений, внесенных в оперативную доктрину защиты южных рубежей империи. Летом 1845 г. император Николай I распорядился о постройке глубоко в степи двух укреплений – на нижнем течении реки Ирғиз, которое было решено назвать Уральским, и на среднем течении реки Турғай – укрепление Оренбургское. Обычно в качестве непосредственного повода выдвижения укреплений вглубь степи указывают на необходимость противостоять повстанческим действиям Кенесары Касымова. Однако мало кто упоминает о других, совсем невоенных событиях, хронологически совпавших с этим военным нововведением. В августе того же 1845 г. по Высочайшему повелению было основано Русское географическое общество. Кроме того, в том же 1845 г. все съемки государства, сделанные за год, стали по личному распоряжению императора выставляться для демонстрации не в здании Главного штаба, как это было ранее, а в Зимнем дворце, приурочиваясь к главному религиозному празднику – Пасхе [Бларамберг 1978, 272], что превратило рутинную процедуру отчетов военно-топографических подразделений в пышную дворцовую церемонию.

Центральная Азия с первых же дней привлекала внимание Русского географического общества. Сразу после его основания действительный член Я. В. Ханьков обратился в Отделение общей географии с предложением «издать новую карту этих мест [Казахской степи – К. И.] с алфавитным объяснением». «Нынешние карты, – сетовал Ханьков, – испещрены непонятными татарскими названиями урочищ, которые и в переводе часто ничего не означают», после чего добавил фразу, весьма слабо согласующуюся с предыдущей: «между тем познание урочищ, т. е. мест степи, замечательных по какому-либо признаку, как-то: колодезю, холмам, пастбищу, могиле и т. п., чрезвычайно важно для путешественника, и в этом-то собственно и состоит География степей» [Отчет 1849, 103].

Это противоречивое утверждение служит наглядной иллюстрацией эпистемологических трудностей, с которыми столкнулись члены географического общества при попытке составить описание Казахской степи. В степи не было таких привычных для европейских географов объектов, как города, села, прииски, церкви и т. д. Свидетельства о ней были весьма ограничены. Информацию пред-

полагалось собирать через «свидетельства чиновников, ездивших в степь, заключающиеся в их журналах и донесениях начальству, рассказов путешественников и купцов, показаний пленных и т. п.» [Отчет 1849, 103]. Примечательно, что перечисляя потенциальных респондентов, которые могли бы сделать понятнее «Географию степей», Ханыков ничего не сказал о коренных обитателях региона – самих казахах, демонстрируя тем самым радикальное расхождение в способах отношения к знанию местности образованного географа и «туземного» жителя.

Казахи умели великолепно ориентироваться в степи, что неоднократно отмечалось многими путешественниками<sup>3</sup>. Однако умение ориентироваться, по мнению Ханыкова, имело мало общего с географическим пониманием территории и тем более с ее картографированием. Кочевники не пользовались репрезентационными эпистемологиями. Знание степи было интериоризировано в них, и им не нужно было осуществлять операцию дистанцирования себя, собственного *self*, от ландшафта, представление о котором предполагалось передавать посредством более или менее регламентированного набора изобразительных кодов. Сама степь уже была для них «картой», являясь не столько объектом изучения, сколько местом обитания, что для эпистемологической позиции европейски ориентированного картографа, нацеленной на конструирование территориальных идентичностей в соответствии с императивами той политической системы, от лица которой они действовали, несомненно, служило серьезным препятствием.

Совсем не удивительно поэтому, что попытка приступить к географическому описанию Казахской степи заключала в себе в качестве первого шага усилие по перекодированию ее наименований – созданию «алфавитного объяснения». Требовалось сконструировать такое представление о пространстве степи, в котором признаки ее обитаемости – пресловутые «непонятные татарские названия урочищ» – приобрели бы новое измерение, которое позволило бы состыковать «Географию степей» с географией прочей территории империи. В этом смысле сама мыслительная операция, нацеленная на изготовление карт, уже содержала в себе жест подчинения

---

<sup>3</sup> «Как киргизы знают дорогу, – писал путешественник П. И. Пашино, – это уж и понять трудно... Раз ямщик попросил у меня папироску. Передавая ему, я уронил ее в снег... "Ничего, потом найду", – успокоивал он меня... "Поеду назад, – подниму"... Не успел я еще выразить сомнения, как ямщик, обводивший своими узенькими глазками местность, добавил: "Место знакомое, найду: здесь направо большой *сор* (солончак), налево там урочище *сычкан кюти* (мышьяная нора), а здесь – подъем. Найду непременно", – еще самоувереннее подтвердил он» [Пашино 1868, 8].

и символического присвоения. Карта превращала степь в объект познания, делая ее предметом интерпретаций и научных манипуляций.

Основание Русского географического общества имело своим следствием еще и то, что в России впервые возникла легальная и престижная дискуссионная площадка, объединившая в единый коллектив: во-первых, гражданских специалистов в области географии, статистики и этнографии, ассоциировавших себя с академическими учреждениями; во-вторых, военных специалистов, задействованных в изготовлении карт и планов потенциальных театров военных действий; в-третьих, крупных государственных чиновников. Если взглянуть на первый список действительных членов Общества, то окажется, что в нем, при кажущемся перевесе гражданских специалистов (80 против 51), в собственно географических отделениях – как общей географии, так и географии России – наблюдалось небольшое, но ощутимое превосходство военных (12 против 9 и 17 против 15 соответственно) [Состав 1846]. Возникновение такого альянса не замедлило сказаться на действиях картографов. Очень быстро была выработана единая программа картографирования территории Российской империи по новой методе, в которой на паритетных началах участвовали два главных российских ведомства, массированно занимавшихся картографированием, – Межевой департамент Сената Российской империи и Военно-топографическое депо Генерального штаба.

В работе каждого из этих ведомств были свои преимущества и свои недостатки. Межевой департамент обладал самым полным на то время архивом документов, опираясь на который, можно было составить представление о территории страны, а именно – межевыми атласами. Именно на их основе, например, была изготовлена знаменитая 100-листовая карта Российской империи (1801–1804 гг.). Однако, по признанию управляющего Межевым корпусом М. Н. Муравьева, межевые атласы, «удовлетворяя требованиям юридического межевания, имеют весьма важные недостатки как материал топографической карты, и эти недостатки происходят от самой сводки частных планов, делаемой донныне без всякого подчинения съемочных работ началам высшей геодезии» [Отчет 1849а, 7]. Другими словами, «частные планы» не рассматривались как часть сферической поверхности Земли и создавались для обслуживания исключительно локальных юридических норм и интересов землепользования. Помимо проекционных ошибок, возникавших при сведении межевых планов, подобные карты обладали еще одним существенным недостатком. На них показывались только границы



владений и род угодий, но почти совершенно игнорировались неровности местности.

Карты, изготавливаемые Военно-топографическим депо, напротив, были максимально репрезентативны с точки зрения детализации ландшафта, поскольку, как писал в своем учебнике выдающийся российский геодезист В. В. Витковский, «на театре военных действий всего важнее знать степень проходимости или недоступности данного пространства, что обуславливается главным образом неровностями поверхности земли, расположением гор, долин и рек, причем большое значение имеют... и ничтожные складки местности, могущие служить войскам прикрытием от взоров и частью от выстрелов неприятеля» [Витковский 1904, 3]. Кроме того, военные карты изготавливались с учетом геодезических поправок, то есть принимали в расчет сфероидность Земли. Однако их существенными недостатками были дороговизна, высокие трудозатраты и долгие сроки изготовления. К началу 1840-х гг. правильными топографическими сетями были покрыты только самые западные российские губернии, а также Крым и Кавказ (нуждающийся в военной съемке, поскольку там велись боевые действия). Расширение триангуляций и последующих топографических съемок предполагалось проводить, планомерно наращивая сети в направлении с запада на восток. Собственно, к границам Казахской степи, да и то только в Оренбургском генерал-губернаторстве, подразделения военных топографов подошли лишь к середине 1840-х гг.

Пытаясь найти способ, который позволил бы адаптировать обширные, но неточные землемерные сведения, имевшиеся в Межевом департаменте, к методам картографии, основанной на строгих геодезических началах, Отделение географии России предложило следующую процедуру исправления межевых атласов: «Определить астрономически большое число пунктов, расстоянием один от другого верстах в 50, и произвести инструментальную съемку дорог, соединяющих соседние между собой пункты; потом получив таким образом для всего атласа верную основу, пространство между дорогами наполнить очерками дач, снятых межевым ведомством, и, наконец, исправить изображение топографических подробностей посредством рекогносцировки». Это предложение, выдвинутое уже в 1846 г., т. е. в первый же год существования Общества, было без промедлений принято начальством Генерального штаба и главным начальником Межевого корпуса [Максимов 1851, 189]. Общество составило подробный план работ, и начиная с 1847 г. межевые атласы стали исправляться под общим методическим руководством

прикомандированного к Межевому департаменту военного геодезиста генерал-майора А. И. Менде<sup>4</sup>. Астрономические положения опорных пунктов на первом этапе определялись военным геодезистом (а также разведчиком и поэтом, первым переводчиком на русский язык поэмы У. Шекспира «Гамлет») М. П. Вронченко и будущим директором астрономической обсерватории Московского университета А. Н. Драшусовым.

Таким образом, к моменту, когда команды военных топографов в результате последовательного наращивания топографических сетей в направлении от западных губерний к восточным оказались, наконец, на подступах к Великой степи, в России разворачивался широкий картографический проект, целью которого являлось создание новой, более точной карты империи с использованием всех имеющихся географических данных и под единым методическим руководством Русского географического общества, объединившего в своих рядах военных специалистов, гражданских географов, влиятельных астрономических экспертов и крупных государственных администраторов. Одновременно успехи картографирования начинают регулярно демонстрироваться в Зимнем дворце и принимают характер пышной дворцовой церемонии.

Внутри Русского географического общества рождаются такие необычные проекты, как ретроспективная демонстрация роста империи, каким был, например, проект члена-сотрудника Общества И. Ф. Штукенберга, предложившего Совету «составить для Общества особую карту, с обозначением постепенного приращения Империи, с 1650 года до Адрианопольского мира, и оборонительных линий, которые были учреждаемы, в течение этого времени, противу внешних врагов». Стоит ли говорить, что Совет «принял с благодарностью это предложение И. Ф. Штукенберга» [Отчет 1851, 21]. Ретроспективная картина пошаговых территориальных приращений империи великолепно дополняла ежегодно демонстрируемый рост ее пределов, описанных строгим топографическим языком. Однако в случае описания степей Центральной Азии это было уже не *исправление* межевых атласов (в степи не было оседлых жителей, занимавшихся земледелием), а *первичная* топографическая съемка совершенно неисследованных ранее территорий, что создавало иллюзию продолжающегося неостановимого роста державы.

<sup>4</sup> В отчетах Русского географического общества А. И. Менде фигурирует под именем «генерал-майор Мендт». В его распоряжении были 36 топографов межевого ведомства и четыре офицера Военно-топографического депо. Начиная с 1850 г. количество съемщиков было увеличено до 40, а количество офицеров – до восьми.

## Практика картографирования как механизм формирования новых элит

Как мы уже говорили, карты степных областей качественно отличались от карт прилегавших к ним губерний. Они не отображали поселений, а следовательно, в них не был вписан никакой социальный порядок, столь свойственный картам густо заселенных европейских территорий. К степям невозможно было применить никаких привычных для европейца дифференцирующих социальных градаций, которые фиксировались бы величиной и формой условных знаков, помечавших топонимы, – кружками, точками или звездочками населенных пунктов, специальными пометками о наличии крепостей, фабрик, церквей или учебных заведений, значками войсковых отличий иррегулярных казачьих войск или регулярных воинских подразделений и т. д. У топографов не было инструментария, позволявшего как-то учитывать присутствие кочевников. В силу этого карты изображали степь как необитаемое пространство. Вполне вероятно, что это осуществлялось непреднамеренно, но такого рода непреднамеренность могла повлечь за собой вполне преднамеренные «оргвыводы». В этом смысле карты можно рассматривать как часть более широкого колониального дискурса, который помогал представлять казахское население невидимым на его собственной земле. Однако вместе с тем практика картографирования степи, свободная от необходимости учитывать посредством картографических символов знаки иерархического доминирования влиятельных социальных групп, могла служить великолепным инструментом утверждения влияния новых элит, для которых *terra incognita* являлась одновременно *a posse ad esse* их дерзких устремлений.

Пионером в области точного топографического описания степи стал полковник И. Ф. Бларамберг, назначенный впоследствии, уже в звании генерал-майора, директором Военно-топографического депо. Этот регион был отчасти знаком ему по предыдущим экспедициям. В 1850 г. в «Записках» к тому времени уже *Императорского Русского географического общества* были опубликованы два его материала: «Журнал веденный во время Экспедиции для обозрения восточных берегов Каспийского моря, в 1836 г.» [Записки ИРГО 1850, 1–48] и «Топографическое и статистическое описание восточного берега Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса Тюк-Карагана» [Записки ИРГО 1850, 49–120]. Ему также довелось побывать в служебной поездке в северную Персию, откуда он сделал несколько военных вылазок на восток вплоть до Герата, и сопровождать

посольскую миссию Никифорова в Хиву и Бутенева в Бухару до реки Сырдарьи. В 1843 г. Бларамберг был назначен исполняющим обязанности обер-квартирмейстера Отдельного Оренбургского корпуса и сразу же приступил к съемкам степи. По всей видимости, это не входило в его прямые обязанности, и служба предписывала ему просто довести до конца начатую еще при П. П. Сухтелену спорадическую триангуляцию и топографическую съемку Оренбургской губернии. Этим он по преимуществу и занимался, но вместе с тем каждый год он обязательно посылал в степь два, а иногда и больше отрядов топографов. Видимо, им руководили не только служебные, но и другие соображения, которые могли быть связаны как с чисто научным интересом, так и с желанием обрести более солидную профессиональную репутацию.

После основания Географического общества Бларамберг сразу же был избран его действительным членом. В этот период начинает появляться и все более упрочиваться новый тип военного специалиста, основывающего свой авторитет не только на героизме, но и на интеллектуализме. Джеймс Хевиа назвал это «новым типом военной маскулинности, основанной на технологическом опыте и рациональных материальных практиках» [Hevia 2012, 34] – «маскулинности, совмещающей в себе ментальное и физическое превосходство как взаимодополняющие части единого целого» [Hevia 2012, 50]. Опираясь на работы таких военных историков, как А. Бухольц [Bucholz 1991], К. Ван Дайк [Van Dyke 1990], Д. А. Рич [Rich 1998], А. Маршалл [Marshall 2006] и А. Митчелл [Mitchell 1981], Хевиа обращает внимание на общеевропейскую военную реформу первой половины – середины XIX в., результатом которой стало создание (в дополнение к армейским) «столичных» или «Больших» генеральных штабов, сформированных на базе Квартирмейстерских служб.

Генеральные штабы стали, по мнению Хевиа, центрами интеграции в армию новых технологий и планирования возможных будущих войн. Война трансформировалась в высокотехнологическую дисциплину, а ее планирование стало напоминать «промышленные карты производственного процесса» [Hevia 2012, 27]. Особое внимание стало уделяться вопросам военной логистики – оптимальным стратегиям мобилизации и переброски войсковых подразделений и обеспечению их снабжения. Возникли такие понятия, как «военно-штабная игра» и «театр военных действий». Для изучения потенциальных театров военных действий были созданы специализированные военно-топографические службы и особые учебные заведения полувоенного типа, в которых профессионально,

с привлечением академических экспертов, производилось обучение приемам тригонометрической съемки, топографическому анализу и картографическому черчению. Все это, наряду с дипломатическими службами, начавшими на регулярной основе выполнять разведывательные функции, легло в основу того, что Хевия, ссылаясь на М. Фуко [Foucault 2007], назвал «военно-дипломатическим диспозитивом». Указанный диспозитив обслуживал общий для Европы того времени режим военного планирования, декларируемой целью которого было достижение военно-политического равновесия.

Внутри военных организаций стали создаваться архивы, содержащие стратегически важную информацию как о своей стране, так и о других странах и занимаемых ими территориях. Однако благодаря таким общественным – и при этом сугобо лоялистским – организациям, как Императорское Русское географическое общество<sup>5</sup>, военные специалисты в области картографии обладали возможностью не просто отправлять результаты своей работы в архив, а предавать их (как правило, в сильно усеченном виде) широкой огласке, получая взамен известность и признание. Подобный тип деятельности, предусматривавший челночное перемещение между центром и малодоступными для гражданских интеллектуалов окраинами, обладал двойной рентабельностью. В столице военные картографы и геодезисты выглядели как лица, от которых можно было узнать из первых уст обстановку начинавших романтизироваться степных окраин [Herlihy 2010], а на периферии те же специалисты воспринимались как столичные фигуры, не лишённые влияния в высших столичных кругах, что легко открывало двери в любой губернаторский дом<sup>6</sup>.

Возможность совмещения военной службы с познавательными практиками была выгодна не только офицерам-интеллектуалам. Подавляющая часть всех военных съемок осуществлялась выпускниками Училища топографов, воспитанники которого набирались главным образом из кантонистов (казенных крепостных военного ведомства, преимущественно солдатских детей). Для наиболее

---

<sup>5</sup> «Источник незыблемой твердости, – говорилось в отчете Общества за 1850 г., когда оно получило новый устав и было удостоено названия “Императорского”, – и с тем вместе залог непреложного успеха для всякого полезного дела, в нашем благословенном Отечестве, есть Высочайшее Монаршее благоизволение. Наше общество было так счастливо, что, при вступлении в новый период существования по новому Уставу, в самом названии своем удостоилось получить новое торжественное закрепление неизменного продолжения к нему животворного Монаршего внимания и покровительства: ему присвоено наименование Общества Императорского» [Отчет ИРГО 1851а, 1–2].

<sup>6</sup> В «Воспоминаниях» И. Ф. Бларамберга содержится немало прекрасных описаний социальных взаимодействий подобного рода [Бларамберг 1978].

способных кантонистов, отбираемых в Училище по результатам сдачи строгого экзамена, сам факт перевода в Корпус топографов уже означал существенное повышение качества жизни по сравнению со школами военно-сиротских отделений, запомнившихся циничным аракчеевским лозунгом: «Из десятка девять убей, а десятого представь». Такой перевод не только повышал кантониста в социальном статусе, но и открывал ему возможность получения хорошего образования. В Училище топографов преподавались: общая теория уравнений; сферическая тригонометрия; основы конических сечений; всеобщая и математическая география; высшая геодезия и тригонометрическая съемка.

Если кантонист дослуживался до офицерского чина, который он мог получить только после 8–12 лет беспорочной выслуги, перед ним открывались широкие карьерные перспективы. За первые пятьдесят лет существования Корпуса девять бывших солдатских детей стали генералами, многие десятки – полковниками и подполковниками, но большинство выходило в отставку в звании капитана<sup>7</sup>. Характерной чертой деятельности военных топографов было то, что их карьерный успех был неразрывно связан с наличием еще не описанных территорий. Перспективы их карьерного роста определялись открытостью и широтой простировавшегося перед ними географического горизонта в буквальном, а не метафорическом смысле этого слова. Степь ли это была, или пустыня, – не важно; последнее было даже в некотором смысле предпочтительнее, поскольку отсутствие оседлого населения упраздняло необходимость вступать в переговоры с местной администрацией. Экспансионизм был глубоко укоренен в самих принципах, на которых основывалась успешная служба военных топографов, за что они иногда получают от современных историков прозвище «приспешников» (*accomplices*) империализма [Toal 2014, 548].

### Прочерчивание линий и их толкование

Каждое государство и каждый из входящих в него институтов нуждаются в пространстве, но в таком, которое они могут организовать в соответствии со своими конкретными потребностями. Поэтому в картографировании пространство невозможно рассматривать как некую довлеющую априорную форму. Институты и госу-

<sup>7</sup> Послужные списки всех служащих Корпуса топографов за первые 50 лет его существования приводятся в Приложении 1 источника: Исторический очерк 1872.

дарства не просто *занимают* пространство, они *изменяют* его, вписывая в него свой социальный порядок. Именно этот сплав социального порядка с топографическими особенностями местности отображается картами. Исходный рубеж, от которого отталкивался И. Ф. Бларамберг, представлял собой укрепленную казачью линию – сложное этно-социо-территориальное образование, возникшее в результате последовательного превращения Российской империи в то, что принято называть национальным государством – государством, чьими определяющими характеристиками являются забота об устройении, защите и обслуживании национальной территории и административное управление национальной экономикой.

Вполне естественно поэтому, что первые топографические экспедиции, отправляемые Бларамбергом в степь, осуществляли съемку в непосредственной близости от казачьих линий, привязываясь к нескольким городам, координаты которых были определены еще в 1810-х гг. академиком В. К. Вишневым [Струве 1846, 57]. Восточное побережье Каспийского моря тоже было довольно подробно промерено «чиновником Военно-топографического депо Леммом и лейтенантом Анжу» в ходе Аральской экспедиции 1821–1822 гг. [Список точек 1851, 59]. В 1843 г. Бларамберг отправляет в степь две команды, состоявшие из одного офицера и четырех топографов. Каждая команда путешествовала под охраной сотни казаков с необходимым количеством верблюдов и телег для транспортировки провианта, юрт и инструментов.

Сначала съемочные участки последовательно и равномерно расширяли картографируемые области по всему фронту линии. Однако подобная плавная динамика была нарушена в 1845 г. после решения императора возвести в степи два укрепления, отстоящих от казачьей линии более чем на 300 верст. Наряду с постепенно нарастаемыми описаниями, примыкавшими друг к другу вытянутыми по широте слоями, со все более глубоким погружением в южные широты, стали возникать участки, напоминавшие узкие «клинья», глубоко вонзавшиеся в степную территорию вдоль меридиана в направлении сначала нижнего Иргиза и среднего Тургая, а затем и устья Сырдарьи – в места постройки будущих укреплений. Сам Бларамберг, судя по всему, не планировал столь глубоких проникновений. Решение продвинуться в степь, скорее, спутало его планы, лишив их последовательности и систематичности. Но прямой начальник Бларамберга – оренбургский генерал-губернатор с 1842 по 1851 г. В. А. Обручев – был горячим сторонником новой оперативной доктрины. Именно ему главным образом принадлежала

инициатива возведения Аральского укрепления – форпоста, расположившегося в непосредственной близости от Кокандских владений и сыгравшего роковую роль в истории присоединения к России центральноазиатских ханств<sup>8</sup>.

Между Аральским укреплением в устье Сырдарьи и ближайшим к нему крупным населенным пунктом укрепленной казачьей линии Орском было уже не 300, а 700 верст степного пространства, лишённого угодий и коммуникаций. К тому же оно было окружено с севера песками Приаральских Каракумов, что сильно осложняло снабжение, поскольку глубокий песок был непроходим для телег и все, вплоть до бревен, приходилось возить на верблюдах. Последовательная экспансия российских войск вдоль русла Сырдарьи вверх по течению в надежде обнаружить источники снабжения обернулась основанием очередных фортов и учреждением новообразованной Сырдарьинской линии. Однако проблему снабжения это продвижение так и не решило. И хотя Бларамберг отмечал, что «кочующие, а также оседлые киргизы нижней Сырдарьи были навсегда освобождены от кокандского гнета», что дало им возможность спокойно заниматься хлебопашеством и позднее «снабжать гарнизоны фортов пшеном, ячменем, а также убойным скотом» [Бларамберг 1978, 323], местных ресурсов было явно недостаточно для полноценного содержания гарнизонов, служба в которых стала приобретать характер изнурительного наказания ссылкой.

Все военные экспедиции сопровождалась топографической съемкой окрестностей маршрутов и завоеванных укреплений. После активных «клинообразных» вторжений российских отрядов степь продолжала описываться, но уже по «плавной» методе Бларамберга, устранявшей лакуны в описаниях, привязанных к маршрутам военных походов. К 1855 г. Бларамберг отчитался об успешном завершении съемок «Киргизской степи» [Полуинструментальная 1857]. В распоряжении военных топографов оказались все необходимые топографические данные для изготовления полноценной карты от восточного побережья Каспийского моря до границы, разделяющей владения казахов Оренбургского и Западно-

<sup>8</sup> Мечта утвердиться на Сырдарье не являлась *idée fixe* одного только Обручева. Ее разделяли многие военные специалисты конца 1830-х – начала 1840-х гг., имевшие опыт коммуникации с обитателями степи и центральноазиатских ханств. Так, по свидетельству В. И. Даля, записавшего рассказ «оренбургского линейного батальона № 10 прапорщика Виткевича относительно пути его в Бухару и обратно» (1835–1836 гг. – К. И.): «Если бы стать твердою ногою на Сыре, то нет никакого сомнения, что хивинцы сделались бы совершенно ничтожными, схоронились бы в берлогу свою, кайсаки наши были бы в безопасности и между Сыром и Уралом водворилось бы совершенное спокойствие и повиновение» [Демезон 1983, 89].



Сибирского генерал-губернаторств. Военно-топографическое депо время от времени использовало их для опубликования карт, которые по принципу палимпсеста постепенно исправлялись и пополнялись новыми подробностями.

Следует обратить особое внимание на то, что карты, издаваемые военным ведомством, никогда не изображали степь в виде отдельного географического объекта. Она всегда запечатлевалась как широкое транзитное пространство, пролегающее между территорией с оседлым населением и редко рассредоточенными укреплениями. Это существенным образом отличало их от карт, изготавливаемых гражданскими ведомствами, на которых степь, как правило, наделялась самостоятельным этногеографическим статусом. Технологии изготовления военных и гражданских карт также различались. Военные карты производились не отдельными географами, а армейскими подразделениями, в которых строго соблюдалось разделение труда. Первичные топографические данные производились рядовыми топографами непосредственно в степи. Затем они обрабатывались офицерами и передавались либо в гравировальное отделение, либо в литографию, где наиболее искусные граверы и словорезы готовили доски и камни для типографии. Как в любом другом армейском подразделении, в Корпусе топографов существовали жесткие требования обеспечения коллективного участия в общем процессе, протекавшем в строгом соответствии с иерархией служебных положений, с осуществлением взаимного контроля на каждом этапе производства топографического знания в рамках тех полномочий и компетенций, которыми обладали задействованные в нем лица.

В случае гражданских географов карты, напротив, имели не коллективное, а индивидуальное авторство. Авторы не всегда сами бывали на описываемых ими территориях и часто опирались на косвенные свидетельства самых разных лиц с сильно варьирующимися компетенциями, интересами и образовательными стандартами. Не будучи связанными жесткими процедурами топографической практики, они были в большей мере склонны к конструированию территориальных идентичностей, основанных не на топографических особенностях местности, а на дедукции географического мышления. Это усиливало разногласия в картографических описаниях, особенно при изображении малоизвестных южных регионов степи. Например, в 1858 г. картограф и педагог Н. И. Зуев составил по поручению министра народного просвещения «Карту киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств» (1858) [Карта

1858], вошедшую в состав «Подробного атласа Российской империи» (1860) [Подробный атлас 1860]. Согласно этой карте, граница территории «Малой орды Оренбургского ведомства» на участке вблизи юго-восточного побережья Аральского моря проходила не по Сырдарье, а по якобы полноводной «Куван-Дарье», русло которой изображалось значительно южнее низовий Сырдарьи. Из всех укреплений Сырдарьинской линии были изображены только два – упраздненное за четыре года до опубликования карты укрепление Аральское и форт Перовский, окруженный двумя крупными озерами с общим названием Бабыстын-Куль (ил. 1).



Ил. 1. Фрагмент «Карты киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств» (1858), составленной Н. И. Зуевым, на которой форт Перовский изображен в окружении озер Бабыстын-Куль

На «Генеральной карте Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений», составленной четырьмя годами ранее (в 1854 г.) при Генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса [Генеральная карта 1854], Куван-Дарья была более реалистично помечена как пересохшее старое русло Сырдарьи, а форт Перовский изображен в окружении не озер, а песков (ил. 2).

Озера Бабыстын-Куль, неоднократно описанные русскими географами [Венюков 1861, 95], были вынесены за пределы Оренбургского генерал-губернаторства. Они нашли, было, свое место на «Генеральной карте Западной Сибири с Киргизской степью» (1855), составленной при штабе отдельного Сибирского корпуса [Генеральная карта 1855]. Однако, хотя на этой карте они были гораздо вернее изображены не рядом с фортом Перовский, а выше по Сырдарье, сибирские топографы относили их к Оренбургской, а не Сибирской части степи (ил. 3).



Ил. 2. Фрагмент «Генеральной карты Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений» (1854), составленной при Генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса, на которой форт Перовский, изображен в окружении песков



Ил. 3. Фрагмент «Генеральной карты Западной Сибири с Киргизской степью» (1855), составленной при штабе отдельного Сибирского корпуса, на которой озера Бабыстын-Куль изображены выше по Сырдарье, но в пределах Оренбургского генерал-губернаторства

Приходится признать, что вплоть до начала вторжения в пределы центральноазиатских ханств ни у гражданских, ни у военных географов не было ясного представления о характере местности южнее форта Перовский и укрепления Верного. Как можно заключить по изменяющейся локации озер Бабыстын-Куль, положения многих объектов в этой части степи наносились весьма гадательно. Тем не менее на военных картах было видно стремление следовать определенной процедуре при проведении границ. Это не могла быть

демаркация в европейском смысле. Поэтому топографам приходилось использовать опыт разграничений, приобретенный ими при описании укрепленной казачьей линии. Линии были застроены фортами, пикетами и крепостями, вдоль которых осуществлялись разъезды конных дозоров и действовала отлаженная система кордонной сигнализации. Со стороны степи укрепления на линии противостояли «дистанции» казахов, охраняющие казахские пастбища от экспансии казачьего населения. Линия и прилегающие к ней пространства были зоной непрекращающегося конфликта, который, с одной стороны, сообщал им различимость и осязаемость, с другой – обеспечивал их устойчивость, поскольку система институтов по улаживанию приграничных конфликтов наделяла линию не только географическим, но также политическим, юридическим и экономическим статусами.

Если внимательно рассмотреть структуру Сырдарьинской линии, то можно различить признаки аналогичной организации, в которой российским укреплениям противостояли уже не казахские дистанции, а пикеты или укрепления Хивинского и Кокандского ханств. Согласно карте Оренбургского штаба, напротив форта № 1 (возведенного взамен заброшенного Аральского укрепления) располагались хивинские укрепления Джан Кала и «бывшее укрепление Бабаджан». Напротив участка линии, замыкаемого фортами № 2 и № 3 стояло хивинское укрепление Ходжа-Нияз (а также были обозначены многие другие «бывшие крепости»), напротив форта Перовский – кокандское укрепление Джулек. Периодически случавшиеся военные столкновения между гарнизонами и вооруженными группами хивинцев и кокандцев закрепляли зону разграничения, создавая аналог устойчивого противостояния, хотя проведенная линия не имела никакого отношения к границе в привычном понимании этого слова.

Вероятно, поэтому на военных картах пространство, пролегающее между Каспийским и Аральским морями, вообще не содержало никаких границ. Там не было российских укреплений, и им ничто не противостояло. Российская «Степь кочующих киргиз-кайсаков Малой орды» плавно перетекала в «Хивинские владения» без какой бы то ни было разделительной черты. На карте Н. И. Зуева, напротив, была проведена загадочная «этнографическая граница», соединяющая небольшой залив «Кули-Дарья» Каспийского моря (изображенный в том месте, где должен был располагаться огромный Кара-Бугаз) с «Айбугирским озером» – еще полноводным тогда узким заливом в юго-западной части Аральского моря, простиравшимся на юг почти до широты Ходжейли (ил. 4).



Ил. 4. Фрагмент «Карты киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств» (1858), составленной Н. И. Зуевым с «этнографической границей», проходящей через Устьурт

Не привязанная ни к каким элементам рельефа, эта линия пересекала по прямой необитаемое плато Устьурт. Ее сугубая умозрительность подчеркивалась тем, что она не являлась геодезической кратчайшей, поскольку была проведена по плоской поверхности карты, изготовленной в весьма несовершенной продольной проекции Меркатора.

Военные топографы иногда точно, иногда наугад репрезентировали степь посредством географической фиксации положений рек, озер, оврагов, гор, колодцев, бродов, могил, развалин бывших крепостей, солончаков и песков. Однако с точки зрения социально детерминируемых картографических категорий с их иерархически организованной градацией степь продолжала оставаться «пустой». Она не содержала таких очевидных и общепринятых при изображении территории империи знаков кодирования социального порядка, как губернские, уездные и заштатные города; села, слободы, деревни, заводы и прииски; университеты, академии, лицеи, институты, гимназии и училища. Из всех возможных типов дорог, которые было принято делить на железные, шоссе, губернские и уездные, обозначались только маршруты и караванные пути, которые на местности зачастую можно было угадать только по клочкам хлопка, оставляемым на ветвях саксаула поклажей сильно груженных верблюдов<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Ориентируясь именно на такие и подобные признаки, И. Ф. Бларамберг прокладывал первые маршруты, соединяющие Орск с Уральским, а затем и Аральским укреплениями [Бларамберг 1978, 240].



Единственным порядком, отчетливо угадываемым во всех военных репрезентациях степи, был порядок мобилизаций, маневров и передислокаций. Пространство, которое создавали военные топографы, было пространством войны. С помощью изготавливаемых ими карт можно было оценить глубину оперативного охвата и продумать систему военной логистики. Степь не могла быть отделена от территорий Оренбургского и Западно-Сибирского генерал-губернаторств потому, что военные карты изготавливались располагавшимися в них корпусами, а сама она являлась частью их территорий. Однако не менее важным обстоятельством было то, что, будучи изображенной в виде театра возможных военных действий, она являлась инструментом, позволявшим визуализировать импликации военной логистики – рациональное размещение опорных пунктов тылового обеспечения, прокладывание маршрутов движения пехоты и выбор мест мобилизации в непосредственной близости от Сырдарьинской и южной границы Западно-Сибирской линий, которые в условиях спорадически возникавших вооруженных конфликтов воспринимались как передовые рубежи уже не столько политического, сколько военного противостояния.

### Штабные визуализации и туман войны

Оправдывая вторжение в пределы центральноазиатских ханств, военный министр Д. А. Милютин писал в своих «Воспоминаниях»: «До 1864 года государственная наша граница в Средней Азии представлялась в совершенно ненормальном виде. С тех пор, как передовые наши укрепления были выдвинуты в степь, далеко вперед старой границы, с одной стороны – на низовья Сырдарьи... а с другой – в Заилийский край... между этими двумя передовыми линиями образовался большой промежуток степной местности, где граница наша оставалась как бы разорванной. Между крайними пунктами этих линий... расстояние в 750 верст было ничем не прикрыто от хищнических набегов кочевников и враждебных нам в то время кокандцев, бухарцев и хивинцев. *Достаточно одного взгляда на карту* [курсив мой. – К. И.], чтобы убедиться в необходимости установления связи между двумя пограничными линиями» [Милютин 2003, 512–513].

Как мы уже убедились, район, о котором упоминал Милютин, лежал на пересечении двух военных карт, изготовленных в разных военных ведомствах и сильно отличавшихся друг от друга в месте

наложения. В северных широтах карты были хорошо согласованы, однако на юге между ними наблюдались серьезные расхождения. Место пересечения границы между генерал-губернаторствами с рекой Сырдарьей на карте Оренбургского корпуса располагалось в точке с координатами 44,8° северной широты и 83,5° восточной долготы (от меридиана Ферро), а на карте Сибирского корпуса – 44,4° северной широты и 84,7° восточной долготы (то есть почти на 100 километров восточнее!). Река Сарысу, вдоль которой проходила граница между генерал-губернаторствами, имела на широте 45,5° на карте Оренбургского корпуса долготу 84,8°, а на карте Сибирского корпуса – 85,7°, что тоже составляло расхождение на местности не менее 70 километров.

Более того, если судить по военным картам, то как раз в этом регионе граница была довольно уверенно проведена по естественным препятствиям. Она проходила по реке Чу (которая и сейчас служит государственной границей между Киргизией и Казахстаном) и по нижней части Сырдарьи. Пространство между двумя реками действительно содержало разрыв, где граница проводилась пунктиром, но он составлял не более 100 километров и постоянно сокращался в результате медленной экспансии российских военных отрядов все глубже на юг. Если разрыв границы где-то и существовал, то не к востоку, а к западу от Сырдарьинской линии, где не было даже редко расставленных укреплений. И, как показывают примеры, приводимые военным географом А. И. Макшеевым, именно на этом пустынном направлении, почти непроходимом для регулярных войск, но легко преодолеваемом небольшими группами конных разбойников, совершалось большинство безнаказанных «хищнических набегов» [Макшеев 1890].

Очевидно, Милютиным руководили другие и куда более серьезные соображения. Граница в том виде, в каком она существовала до аннексии Ташкента, была уязвима не из-за того, что в ней существовал «разрыв». Ее слабым местом были трудности снабжения Сырдарьинской линии. Оренбургский генерал-губернатор А. П. Безак писал 1861 г. Милютину, что постройка Обручевым степных укреплений в 1840-х гг. была вынужденной и правильной мерой, но «некоторые ошибки», допущенные при их строительстве, привели к тому, что расходы на степные укрепления и на их гарнизоны выросли к настоящему времени до 700 000 рублей серебром в год, тогда как кибиточный сбор с казахов не приносил и 200 000 рублей.

В результате правительство вынуждено было ежегодно выделять на содержание укреплений полумиллионную субсидию, не считая

расходов на региональную администрацию, которая требовала дополнительных 100 000 рублей серебром. Решить проблему снабжения путем основания в непосредственной близости от укреплений колоний поселенцев не удалось. Хотя военный географ М. И. Венюков писал, что «многие местности по Тургаю, Ори и Ходбе могли бы послужить к основанию цветущих деревень или станиц» [Венюков 1873, 418], русские переселенцы туда не пошли. Поселившиеся там, было, несколько казачьих семей оказались непривычными к тяжелому труду по возделыванию степной почвы и стали заниматься не хлебопашеством, а торговлей и перевозками. Единственный способ выйти из этой затруднительной ситуации, писал Безак, это продвинуться вверх по Сырдарье и захватить более плодородные земли с оседлым коренным населением между Туркестаном и Ташкентом, где производилось много зерна и росли леса, необходимые для обустройства укреплений на Сырдарье [Morrison 2014, 164]. Преемник Безака А. О. Дюгамель предложил в 1863 г. и вовсе превратить Ташкент в самостоятельное вассальное ханство, независимое от Коканда [Morrison 2014, 156].

Тем не менее стремление Милютина использовать в качестве аргумента именно карту весьма симптоматично. Будучи одним из основателей Русского географического общества, Милютин, как и многие его сослуживцы, говорил и действовал, являясь актантом мощной институционализированной практики, локализирующей, идентифицирующей и очерчивающей географические феномены. Поэтому произнося свои слова, он апеллировал не столько к ландшафту, сколько к авторитетному дискурсу накопления и пересмотра картографического материала. Как мы видели, этот материал не имел и не мог иметь строго выверенной канонической формы. Его конкретный вид определялся таким размещением географических сущностей, чтобы они оптимальным образом соответствовали актуальным в настоящий момент территориальным императивам. Гипотетическая «карта», на которую предлагал взглянуть министр, являлась не столько конкретным изображением, сколько диалогом картографических репрезентаций с общественным контекстом. И напряжения в ее контенте создавались, с одной стороны, постоянно обновляющимися картографическими данными, с другой – меняющимися социальными расстановками. Милютин «не заметил» разрыва в западной части степи потому, что там не было богатых оазисов.

Для столичных ведомств реальность окраин была исключительно той реальностью, которую изображали карты. Путем прочерчива-



ния линий и замыкания их в контуры карты позволяли производить новые объекты, конструировать новые идентичности и акцентировать внимание на задачах, которые были актуальны в настоящий момент. В этом смысле они были прекрасным инструментом артикуляции политических целей. В январе 1859 г. генерал-губернатор Западно-Сибирского генерал-губернаторства Г. Х. Гасфорт подал в правительство записку о необходимости занять кокандские крепости Токмак, Пишпек, Аулие-Ату, Сузак и верховья реки Чу, чтобы соединить южные границы Западно-Сибирской и Оренбургской линий на Сырдарье и получить таким образом «твердую государственную границу» [Записка 1859]. Начиная с этого момента стали возникать многочисленные планы «соединения линий», которые многократно пересматривались и корректировались. А. Моррисон подробно проанализировал дискуссии начала 1860-х гг. о том, где должна была пройти новая линия, и пришел к выводу, что несмотря на то, что речь в них шла о поиске «естественной границы», главное внимание уделялось не ландшафту, а «человеческим и природным условиям» [Morrison 2014a, 173].

В конечном итоге было решено провести новую границу через города Туркестан и Аулие-Ату (сегодня Тараз). Весной 1864 г. со стороны Оренбурга в направлении Туркестана вышел полковник Н. А. Веревкин с отрядом в 1200 бойцов и 10 орудиями, а со стороны Верного в направлении Аулие-Аты – полковник М. Г. Черняев с отрядом 1500 бойцов и 4 орудиями. Учитывая то, что на момент вторжения точное географическое представление о территории предполагаемого «разрыва границы», попросту отсутствовало, отряды двигались почти наугад. Единственная достоверная карта, находившаяся в распоряжении Черняева, представляла собой эскиз, нарисованный казахским лазутчиком, с очень приблизительным обозначением маршрутов и грубым наброском деталей ландшафта и рек<sup>10</sup>. В результате было совершено географическое открытие. После захвата Туркестана и Аулие-Аты выяснилось, что хребет Каратау, разделяющий эти два города, не содержит удобных перевалов, а его крутые северные склоны практически безводны. А потому задуманный в столице план соединения Сибирской и Сырдарьинской линий через Туркестан и Аулие-Ату оказался неосуществимым.

Однако из грубого наброска карты Черняева следовало, что единственная дорога, соединяющая Аулие-Ату с Туркестаном, проходила в обход хребта Каратау с юга через Чимкент, который по-прежнему

<sup>10</sup> Моррисон приводит сноску на казахский архивный источник [Morrison 2014a, 176].

контролировался кокандцами. Получив разведывательные данные о том, что в Чимкенте начали сосредотачиваться кокандские войска под предводительством фактического правителя ханства муллы Алимкула<sup>11</sup>, Черняев, вполне резонно опасаясь, что это могло разорвать коммуникацию между Аулие-Атой и Туркестаном, предпочел, не дожидаясь решения из Петербурга, осуществить быстрый превентивный захват еще и этого города.

Веревкин сначала категорически возражал против несанкционированной инициативы Черняева, однако в последний момент решил поддержать ее и выслал на соединение с Черняевым небольшой отряд под командованием капитана Мейера. Согласно одной из версий, Мейер осознанно не пошел на соединение с Черняевым и решил штурмовать Чимкент самостоятельно, чтобы приписать заслугу захвата города не Сибирскому, а Оренбургскому ведомству. Не зная местности и не обладая разведывательными данными, он попал в окружение, потерял много солдат, всех лошадей и был вынужден вести унижительные переговоры с Алимкулом до прихода к нему на помощь отряда Черняева. В результате Черняев потерял много времени и потому продвигался к Чимкенту в сильной спешке, что чрезмерно растянуло обоз, разрушило коммуникации и вынудило солдат заняться реквизициями.

Вся дальнейшая история этой операции известна только по военным реляциям, рапортам и частным донесениям, достоверность которых в период активных боевых действий не поддается проверке. Не более достоверны и еще более противоречивы воспоминания участников описываемых событий. Как бы то ни было, Чимкент был захвачен. Предполагалось, что этого вполне достаточно для смыкания Сибирской и Сырдарьинской линий, и в ноябре 1864 г. на имя императора была подана записка, составленная совместно военным министром и вице-канцлером, в которой рекомендовалось «ограничиться достигнутыми уже результатами, отказываясь от дальнейшего наступления» [Записка 1864]. Несмотря на это, в следующем году Черняев самостоятельно (без Высочайшего повеления) захватил Ташкент, опередив аналогичное намерение Бухарского эмира Музаффара Сеида, находившегося на пике величия и претендовавшего на лидерство в регионе, чем, по сути, развязал крупномасштабную войну в Центральной Азии, окончившуюся покорением Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств.

<sup>11</sup> Формально ханством правил малолетний хан Султан-Саид (в некоторых вариантах написания – Сеид).

## **Заключение**

С основанием Русского географического общества в России возникает единая программа картографирования территории Российской империи. Этот проект, имевший отчетливые экспансионистские оттенки, развивался рука об руку с расширением государственных интересов России, в результате чего практики картографирования стали неотъемлемой частью не только научного, но и политического дискурса. Будучи встроенными в механизмы управления, карты не просто пассивно использовались в процессе принятия решений, касающихся административных мероприятий и военных операций. Они стали инструментом очерчивания феноменов, местом конструирования новых идентичностей и средством легитимации территориальных захватов.

Институционализация картографии, осуществлявшаяся в духе общеевропейских тенденций первой половины XIX в. в подразделениях квартирмейстерских служб, выразилась в создании при Генеральном штабе российской армии особой военной организации – Корпуса топографов. С возникновением Корпуса карты перестали быть результатом индивидуального творчества отдельных специалистов, основывающих свои визуализации на свидетельствах большого количества респондентов с сильно варьирующимися интересами и компетенциями. Производство карт становится результатом слаженной работы большого количества исполнителей, использующих передовые топографические методики и наиболее совершенные измерительные инструменты. Одновременно служба в Корпусе, личный состав которого пополнялся из наиболее одаренных кантонистов, превращается в мощный социальный лифт для его воспитанников.

Карты поощряли российский экспансионизм, а все более совершенствующие техники картографирования использовались для дальнейшего развития имперского проекта. На периферии империи, постепенно осваиваемой переселенческим движением, топографы наряду с другими специальными комитетами осуществляли привязку рыхлой массы российских переселенцев к государственным институтам. Кадастр, атласы межевания, отчеты об этническом составе, рапорты о местных обычаях, описания локальных конфликтов и наиболее часто случавшихся эпидемий выполняли функцию первичной артикуляции имперского роста, сообщая экспансии внятность. В степях Центральной Азии, где гражданские

эксперты были редкостью, за военными топографами оставалась только функция чистой артикуляции.

Предметом внимания и ресурсом карьерного роста топографов являлись только местности, вне зависимости от того, были ли они благоприятны для заселения, эксплуатации, стратегического влияния или нет. В этом смысле степь была для них не менее привлекательна, чем любое другое неизученное место. Используя исключительно позитивистские методики, топографы ухитрились произвести стойкий миф «пустого пространства» степных территорий, представив их землями, лишенными признаков обитаемости. В степи не было границ, но новые методы топографической съемки давали возможность прочерчивать «фронтиры», понимая под ними границы территорий, охваченных топографическими сетями. При императоре Николае I они торжественно демонстрировались в Зимнем дворце, создавая иллюзию непрерывного расширения империи.

В Центральной Азии, где местные элиты мыслили в категориях правления не столько территориями, сколько людьми, картография представляла собой великолепный инструмент конструирования новых политических идентичностей. Техники репрезентации, применяемые топографами, были настолько плотно встроены в дискурсы и практики колонизации, что начинали работать в качестве «объективных» аргументов, высказываемых как бы от лица самой реальности. Обретая самостоятельное существование на картах, объекты, произведенные топографами на «ничейных» территориях, использовались в качестве повода для дальнейшей экспансии. Каждый следующий территориальный захват аргументировался картографическими доводами по «смыканию передовых рубежей» или «сокращению пограничной черты». Безусловно, поиски «границы» определялись в первую очередь политическими соображениями. Однако, как мы показали выше, в условиях степных территорий понятие «границы» обретало смысл только благодаря картографическим технологиям визуализации – прорисовыванию линий и объединению произведенных объектов в новые совокупности.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Афганское разграничение 1886 – Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Великобританией 1872–1885. Издание Министерства иностранных дел. Санкт-Петербург, 1886.

- Бларамберг 1978 – *Бларамберг И. Ф.* Воспоминания. Москва, 1978.
- Венюков 1861 – *Венюков М. И.* Очерки Заилийского края и Причуйской страны. Записки Императорского Русского географического общества. Книжка четвертая. Санкт-Петербург, 1861. С. 79–130.
- Венюков 1873 – *Венюков М. И.* Опыт военного обозрения русских границ в Азии: Вып. 1. Санкт-Петербург, 1873.
- Витковский 1904 – *Витковский В.* Топография. Санкт-Петербург, 1904.
- Генеральная карта 1854 – Генеральная карта Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений. 1854 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.retromap.ru/m/#1418544\\_z7\\_58.144619,56.854248](http://www.retromap.ru/m/#1418544_z7_58.144619,56.854248) (дата обращения: 7.10.2019).
- Генеральная карта 1855 – Генеральная карта Западной Сибири с Киргизской степью. 1855 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.retromap.ru/m/#141855\\_z6\\_61.095479,80.661621](http://www.retromap.ru/m/#141855_z6_61.095479,80.661621) (дата обращения: 7.10.2019).
- Демезон 1983 – *Демезон П.* Записки о Бухарском ханстве. Москва, 1983.
- Договор 1889 – Договор 12 (24) февраля 1881 г. Сборник договоров России с Китаем. 1869–1881 гг. Издание министерства иностранных дел. Санкт-Петербург, 1889. С. 225–236.
- Записка 1859 – Записка командира отдельного Сибирского корпуса и генерал-губернатора Западной Сибири о необходимости занятия верховьев р. Чу и предварительных к тому распоряжениях от 21 января 1859 г. Российский государственный военно-исторический архив. Фонд 483. Опись 1. Дело 51. Лист 4–5 оборот.
- Записка 1864 – Записка министра иностранных дел А. Горчакова и военного министра Д. Милютина на имя имп. Александра II о политике в Средней Азии и Казахстане, от 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://myaktobe.kz/archives/38660> (дата обращения: 7.10.2019).
- Записки ИРГО 1850 – Записки Императорского Русского географического общества. Книжка IV. Санкт-Петербург, 1850.
- Исторический очерк 1872 – Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1822–1872. Санкт-Петербург, 1872.
- Карта 1858 – Карта киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств. 1858 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://kokshetau.online/karta-kirgizskih-stepej-prinadlezha-shhih-rossii-maloy-srednej-bolshoj-i-bukeevskoj-ordy-orenburgskogo-i-sibirskogo-vedomstv-1858-g/> (дата обращения: 7.10.2019).

- Крафт 1898 – *Крафт И. И.* Сборник узаконений о киргизах степных областей. Ч. II. Оренбург, 1898.
- Максимов 1851 – *Максимов Ф. О.* Обзор тригонометрических работ в России. Записки Императорского Русского географического общества. Книжка V. Санкт-Петербург, 1851. С. 154–197.
- Макшеев 1890 – *Макшеев А. И.* Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских. Санкт-Петербург, 1890.
- Милютин 2003 – *Милютин Д. И.* Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1863–1864. Москва, 2003.
- Отчет ИРГО 1849 – Отчет Русского географического общества за 1845 и 1846 г. Записки Русского географического общества. Книжка I и II. Издание второе. Санкт-Петербург, 1849. С. 98–113.
- Отчет ИРГО 1849а – Отчет Русского географического общества за 1846/47 год. Записки Русского географического общества. Книжка III. Санкт-Петербург, 1849. С. 1–19.
- Отчет ИРГО 1851 – Отчет Русского географического общества за 1849 год. Записки Русского географического общества. Книжка V. Санкт-Петербург, 1851. С. 1–29.
- Отчет ИРГО 1851а – Отчет Императорского Русского географического общества за 1850 год. Санкт-Петербург, 1851.
- Пашино 1868 – *Пашино П. И.* Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. Санкт-Петербург, 1868.
- Подробный атлас 1860 – Подробный атлас Российской империи. Составлен по поручению господина министра народного просвещения Н. Зуевым. Санкт-Петербург, 1860.
- Полуинструментальная 1857 – Полуинструментальная съемка и рекогносцировка Киргизской степи Оренбургского ведомства, начатая в 1843 и оконченная в 1855 году, под руководством корпусного обер-квартирмейстера генерал-майора Бларамберга 2-го. Записки Военно-топографического депо. Санкт-Петербург, 1857. С. 46–50.
- Постников 2007 – *Постников А. В.* Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии (XVIII–XIX вв.). Роль историко-картографических исследований и картографирования. Монография в документах. Москва, 2007.
- Русско-иранская конвенция 1960 – Русско-иранская конвенция о разграничении к востоку от Каспийского моря, от 9 (21) декабря 1881 г. Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов). Ашхабад, 1960. С. 602–605.

- Состав 1846 – Состав Русского географического общества. Записки Русского географического общества. Книжка первая. Санкт-Петербург, 1846. С. 1–8.
- Список точек 1851 – Список точек России, положение коих известно. Записки Военно-топографического депо. Ч. XIII. Приложение. Санкт-Петербург, 1851.
- Струве 1846 – *Струве В. Я.* Обзор географических работ в России. Записки Русского географического общества. Книжка первая. Санкт-Петербург, 1846. С. 43–58.
- Bucholz 1991 – *Bucholz A.* Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning. New York and Oxford, 1991.
- Collwell 1996 – *Collwell C. E.* Small Wars. Their Principles and Practice. Lincoln and London, 1996.
- Foucault 2007 – *Foucault M.* Security, Territory, Population. New York, 2007.
- Herlihy 2010 – *Herlihy P.* Ab Oriente ad Ulteriorem Orientem. Space, Place, and Power in Modern Russia: Essays in the New Spatial History. Mark Bassin, Christopher Ely, and Melissa K. Stockdale (eds). DeKalb, 2010. P. 119–141.
- Hevia 2012 – *Hevia J.* The Imperial Security State. British Colonial Knowledge and Empire-Building in Asia. Cambridge, 2012.
- Marshall 2006 – *Marshall A.* The Russian General Staff and Asia, 1800–1917. London and New York, 2006.
- Mitchell 1981 – *Mitchell A.* “A Situation of Inferiority”: French Military Reorganization after the Defeat of 1870. American Historical Review. 1981. V. 86. No. 1. P. 49–62.
- Morrison 2014 – *Morrison A.* “Nechto Eroticheskoe?” “Courir après l’ombre?” Logistical Imperatives and the Fall of Tashkent, 1859–1865. Central Asian Survey. 2014. Vol. 33. No. 2. P. 153–175.
- Morrison 2014a – *Morrison A.* Russia, Khoqand, and the Search for a “Natural” Frontier, 1863–1865. Ab Imperio. 2014. No. 2. P. 165–192.
- Rich 1998 – *Rich D. A.* The Tsar’s Colonels: Professionalism, Strategy, and Subversion in Late Imperial Russia. Cambridge, Mass., 1998.
- Toal 2014 – *Toal G.* Geopolitical Culture, Ethnoschematization and Fantasy: Regarding Seegel’s Account of the Mapping of East Central European Lands. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. 2014. Vol. 42. No. 3. P. 548–551.
- Van Dyke 1990 – *Van Dyke C.* Russian Imperial Military Doctrine and Education, 1832–1914. New York, 1990.

Материал поступил в редакцию 07.10.2019